

О СТРОВСКИЙ И Н. Я. СОЛОВЬЕВ В РАБОТЕ НАД ПЬЕСОЙ «СВЕТИТ, ДА НЕ ГРЕЕТ»

Статья М. С. Даниловой

1

Сотрудничество Островского с молодыми писателями в последний период его творчества было тесно связано с той борьбой, которую он вел в эти годы за укрепление русского национального театра. Он стремился воспитать молодое поколение русских драматургов, которые дали бы такому театру подлинно народный и высоко художественный репертуар.

Полностью осуществить эту огромную задачу Островский не успел. Наиболее плодотворным и интересным представляется его сотрудничество с Н. Я. Соловьевым, близким ему своими творческими устремлениями. Драма «Светит, да не греет» — четвертая (и последняя) совместная пьеса драматургов; до нее ими были созданы «Женитьба Белугина», «Счастливы день», «Дикарка». Сохранившиеся материалы творческой работы над драмой «Светит, да не греет» особенно ясно показывают, как мастерство великого писателя усовершенствовалось и развило первоначальные наброски его младшего товарища, посвященные изображению нового этапа русской жизни. В результате возникла драма «предчеховских» настроений, выходящая за привычные рамки художественной системы Островского.

Об этом уже писал С. Ф. Елеонский¹. «Светит, да не греет» исследователь называл «предвосхищенным замыслом» «Вишневого сада» и искал в них прямых сюжетных и образных параллелей. Однако сходство не сводится только к этому и этим не исчерпывается. В пьесе «Светит, да не греет» настолько по-новому изображена жизнь пореформенной России, так сложна и противоречива любовная коллизия, что можно говорить о том, как Островский и Соловьев в какой-то мере прокладывали пути к драматургии Чехова².

Творческая история «Светит, да не греет» изучена далеко недостаточно. Как создавалось это произведение? Что в нем от каждого из соавторов? Какая правка была сделана Островским и в чем ее смысл? На эти вопросы бегло отвечали комментаторы X тома Полного собрания сочинений Островского (М., Гослитиздат, 1951).

Детальное рассмотрение наиболее сильно правленных отрывков и сопоставление вычеркнутых мест последней соловьевской редакции и окончательной редакции помогут также отчетливо представить характер работы Островского над пьесами молодых авторов, принципы его подхода к интересному, но еще не отшлифованному материалу, его собственные искания в последние годы жизни.

Драма «Светит, да не греет» имеет три редакции. Первую, условно называемую «Чужое счастье»³, Соловьев закончил 1 июля 1880 г., во время поездки по Кавказу, о чем он сразу же (2 июля) сообщил Островскому: «Вчерне я уже набросал новую пьесу; теперь кое-что отделать нужно (<...> по дороге я бы желал непременно заехать к вам ненадолго, чтобы переговорить и подумать вместе о новой пьесе»⁴. Всю первую половину августа 1880 г. Соловьев провел в Щельково, работая над вторым вариантом — драмой, ориентировочно называемой им «Разбитое счастье»⁵.

Эти две редакции в основном принадлежали Соловьеву. Однако беседы о пьесе велись задолго до приезда соавтора в Щельково. Еще 24 июня 1880 г. Островский, знакомый с планами и набросками Соловьева, писал ему: «Я много думал о вашей пьесе, — вот два главные замечания: надо стараться, чтобы она не походила на «Дикарку», садовник напоминает то же лицо в моей комедии «Правда хорошо, а счастье лучше» (XV, 181). Вторая редакция драмы создавалась в условиях общения драматургов, и, естественно, они вели длительные беседы о ней. Так, с самого начала драма

оказалась произведением совместным, хотя ведущая роль принадлежала в ней Соловьеву.

Уезжая, Соловьев оставил текст пьесы для окончательной отделки Островскому. Это потребовало от Островского немало сил. 26 августа он сообщил соавтору: «...работы очень и очень довольно. Я теперь кончил 1-й акт. После успеха «Белугина» и «Дикарки» горючиться нельзя работой. Надо положить все силы, какие есть, в этот труд» (XV, 183). Лишь 13 октября 1880 г. драма «Светит, да не греет» была закончена.

Основные сюжетные линии и драматические коллизии наметились уже в первой редакции, хотя и Соловьев рассматривал ее только как подступы к большой работе. Характеризуя новое произведение, он писал Островскому 12 июля 1880 г.: «В этой пьесе есть что-то общее с «Дикаркой», но лица и положения совершенно новые»⁶. Это «общее» заключалось в изображении жизни пореформенной провинции, разорения дворянства и укрепления новых общественных сил. Героиня «Чужого счастья» хорошо понимала безвыходность своего положения и предлагала свое имение кулаку Дерюгину. В драме видна попытка противопоставить героиню окружающей среде и наметить в ее лице образ сложный и противоречивый. В Анне Владимировне (будущая Ренева еще не имела фамилии) соединялись искренность и лицемерие, отзывчивость и эгоизм, хотя хорошее преобладало. Она тяжело переживала свою оторванность от родины: «Я — отрезанный ломоть», «бесприютная птица», — говорила она о себе. Ее чувство к Шибаеву, как именовался будущий Рабачев, было, хотя и недолгим, но достаточно страстным.

Однако взаимоотношения героини и окружающих ее людей не были здесь прояснены до конца, а любовная коллизия отдавала откровенной мелодрамой. Трагический исход этой коллизии являлся в значительной степени результатом действия злых, «роковых» сил, в равной степени оказывавших влияние на всех участников любовной истории.

В «Разбитом счастье» уже в значительной степени присутствовали те элементы, которые затем выделили «Светит, да не греет» из привычной драматургической системы. Отношения Реевой (как там называлась героиня) и Дерюгина были изображены как более деловые и реальные. Ярче передана провинциальная атмосфера, четче проведено столкновение героини с окружающими. Образ Реевой получал социально-психологическое обоснование, а сложность ее характера рисовалась точнее и тоньше. Уже не «рок», а реальные причины и следствия господствовали здесь. Соловьев пытался объяснить быстроту разрыва между Олей и ее возлюбленным — Озерским — житейскими обстоятельствами: препятствием к их браку служил «становой», за которого отец прочил Олю, к тому же гордый юноша Озерский боялся отказа на свое предложение. Смысл этого варианта Соловьев в письме к Островскому 5 октября 1880 г. разъяснял так: «Эта новая пьеса представлялась мне драматическим эпизодом из жизни такой женщины, как Реева (везде и во всем она бездельна), она появилась озлобленная, страждущая, неудовлетворенная, одних возмутила, других растерзала и сама остается потрясенная в конце, но все-таки не сломленная <...> она именно блеснет, осветит, но не согреет, так же, как и с ней распорядилась судьба»⁷.

Таким образом, работа Островского касалась не замысла пьесы, а более совершенной его передачи, доведения «Разбитого счастья» до художественного совершенства.

2

Уже в вариантах Соловьева изображение новых порядков не было только фоном, а, как и у Островского, внутренне связывалось с основной сюжетной линией пьесы. В новой пьесе молодой драматург использовал мотивы писем и высказываний своего друга, литератора и консервативного публициста К. Н. Леонтьева. Леонтьев просил Соловьева купить его родовое Кудиново, потому что в противном случае: «Кулак какой-нибудь порубит эти липы и тополи, знакомые вам»⁸. Но Соловьев был слишком беден, и опасения Леонтьева оправдались. Как вспоминал он, «яблони эти «кудиновские», почти все в этой куртине перед домом, как и люди, знакомые и памятные мне даже по особенностям вида своего, давно померзли и погибли; мать и сестра давно



Александр Николаевич
Островскому от
Н. Я. Соловьева

Мая 6-го 1880 г.

Н. Я. СОЛОВЬЕВ

Фотография с дарственной надписью:

«Александр Николаевич Островскому от Н. Я. Соловьева.

Мая 6-го 1880 г.»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

в могилах, а прекрасные лица, может быть, завтра срубят на «луб» юхновский крестьянин Иван Климов, которому я, подобно многим помещикам, вынужден был после долгой борьбы продать всю эту мою родовую святыню»⁹.

Несмотря на наличие социальных мотивов, в «Разбитом счастье» и еще более в предшествовавшей редакции добрые отношения между продающей свое имение помещицей и покупающим его кулаком были прежде всего следствием их хороших человеческих качеств. В «Чужом счастье», например, Анна Владимировна рассказывала Дерюгину о всех своих злоключениях: о разорении и смерти тетки, о пропаже голоса, о бросившем ее возлюбленном. По-видимому, Островский и тогда считал эти излияния госпожи своему бывшему крепостному неуместными. И Соловьев одно явление разбил в новой редакции на три: разговор Дерюгина с Дашей, Дерюгина с Реевой и Реевой с Завалишным (потом Залешным). Такое нововведение вносило не только психологическое правдоподобие, но и давало возможность осветить прошлое героини в различных аспектах.

В окончательном тексте, после правки, сделанной Островским, в отношениях Реевой и Дерюгина появилось ясное понимание социальной ситуации. Каждая из сторон хорошо видит свое положение: Дерюгин — свою силу, Реева — неизбежность продажи. И соответственно обе ведут себя. Всегда и во всем Дерюгин исполнен чувства собственного достоинства и перед хозяйкой, и, разумеется, перед ее горничной. Вот как изменился ответ Дерюгина на замечание Даши о том, что здесь и людей-то нет, «окромя помимо мужиков» (слова, введенные Островским, выделены курсивом, вычеркнутое им дано в прямых скобках, после цитат указываются действия и явления — по обоим вариантам это совпадает).

«Разбитое счастье»

«Светит, да не греет»

Дерюгин. (Даше). [Помилуйте, это мы тут только можем в серости своей, ... потому от рождения ничего другого не видели... а вам как возможно! А привычка, конечное дело, да]. А барышня наша — душевный человек; [простая, ... помним ее еще как здесь тогда прехамши из Питера из ученья была она...] бывало это разговорится с тобой, как с своим братом ... [смеется, шутит].

Дерюгин. Да, конечно, кому как! А барышня наша душевный человек; бывало это, разговорится с тобой, как с своим братом.

(д. I, явл. 2)

В окончательной редакции Дерюгин также был не склонен изливать свои чувства по поводу смерти старой княгини, не называл ее «княгинюшкой», а интересовался делами. Достигал этого Островский значительным сокращением речей Дерюгина. Дерюгин: «Лечилась... лечилась, а смерть-таки взяла свое... эта возьмет! На-ка!»

Ну, как же теперь-ка [причем] барышня наша? [Остается в этакое своем положении как] здесь, значит, думает поселиться?» (д. I, явл. 2). В редакции «Светит, да не греет» у Дерюгина не было никакого сочувствия ни к той, ни к другой. В реплике Дерюгина о разорении Реевой Островским оставлено одно слово «оказия» (в «Разбитом счастье»: Дерюгин: «[Ах-ха-ха.]... Оказия! [Какая! Несчастлива ж наша барышня!]» (д. I, явл. 2); умильное «гнездышко свить» Островский исправил на «гнездо свить» и совсем убрал слова Дерюгина о княгине: «[И любила же она вас!]» (д. I, явл. 3).

В целом сохраная отмеченный Соловьевым вежливый характер отношений помещицы и кулака, Островский объяснил его социально. Их трезвая деловитость, корректность и четкость последовательно проведены в «Светит, да не греет». После предложения Реевой садиться Дерюгин здесь уже не говорил: «[Ослушаться не смеем-с] (садится) [И как это, барышня, надумали к нам?]', а Реева не отвечала: «[Вздумала...хотела еще раз взглянуть на этот уголок — тут родилась...здесь прошла моя юность!...]» (д. I, явл. 3). Вместо этого просто следовала реплика Дерюгина — «слушаю-с» и далее переход к словам: «Гм... Человек-то...» О своей жизни он рассказывал Реевой коротко и ясно: «Да что наше житье, барышня; света [мы никакого] не видим... так копошимся, как червь [земной], в земле — ... [только что год от году тяжельше нам становиться; неуражай за неуражаем... а подать все растет!] Не стоит и разговора наше житье, —

{тяни себе лямку, да взирай в молчанку!... вот Вы, барышня, как там: повидали, я думаю, всего и людей всяких?»} (д. I, явл. 3).

Придав отношениям Реневой и Дерюгина доброжелательную окраску, соавторы являлись как бы предшественниками Чехова, в «Вишневом саде» которого, по словам А. П. Скафтымова, совсем «нет ни враждебной агрессии купца, ни сопротивляющегося ему и борющегося за свои хозяйственные выгоды помещика»¹⁰. Разумеется, речь идет лишь о направлении, которое в конечном итоге ведет к Чехову.

В окончательной редакции пьесы более четко зазвучала проблема закабаления русской деревни кулаком. Вот как изменилось отношение Дерюгина к крестьянству:

Дерюгин. [Вот оно дело-то в продажу! Дело это надо обстригать половчей! Главная сила, чтоб мужиков не допустить... а то налетят, по клокам расхватают! Эх, кабы мне этого барина посадить здесь, подходящий он нам: в нашем крестьянском деле [равно ничего не разумеет], все одно, как младенец... за его спиной я бы [остался полным себе хозяином в имении... Надо ковать!.. Скорей ковать] *сам барином был* <...> (д. I, явл. 4).

Островский оставляет только суждение Дерюгина о Худобаеве и убирает его волнения насчет мужиков: он не боится их, сила давно на его стороне. Для Дерюгина характерны слова в начале IV акта о том, как «скрутит» он «мирян православных». В таком осмыслении образа кулака соавторы еще теснее смыкались с беллетристами-народниками.

Добавление Островского к реплике Дерюгина: «Всякое дыхание [теперьча] радуется, к примеру!.. Такая погода стоит! И уборка у нас важная, что бог дает дальше! А как рыба плещется, нет, нет, да и ударит, ровно поленом. Что ее здесь, этой рыбищи! Вот кабы невод хороший, пудов пятьдесят зацепить можно» (д. IV, явл. 1) — развивало мысль об алчности кулака, его стремлении во всем видеть пользу. Вместе с тем введенные Островским слова подготавливали характерную деталь — Дерюгин воспримет плеск от падения в воду Оли как «игру» огромной рыбы. Мир «прозы» прочно держит героев драмы Соловьева и Островского.

Процесс вторжения купеческих нравов в жизнь деревни показан авторами пьесы «Светит, да не греет» достаточно широко. Большинство помещиков вступило в союз с «незатейливыми» купеческими дочками и ограничило свои интересы покосами и помоллами, соленьями и варениями. Купеческий строй жизни, от которого некогда сбежал даже Аркашка Счастливец, довольно легко победил дворянские привычки и интересы.

Пример этому — Залешин. Он женился не «в одну из очень не задумчивых минут», как в «Разбитом счастье», а с ясной практической целью, «в минуту жизни трудную» (д. I, явл. 6). И Островский беспощаден к нему. Он не оставляет в утешение Залешину ни газет, ни старых книг, ни романсов супруги, вычеркивая все это из реплики: «А что? Хозяйничаем немножко; иногда проедешь на земство, позеваешь, подремлешь там среди наших доморощенных ораторов... [читаю лишь «Московские ведомости», да для сна беру какую-нибудь книгу из дедовского шкафа и изредка ушваюсь пеннием моей супружницы, — она удивительно исполняет: «взвейся выше»] (д. I, явл. 6).

Однако в Залешине сохраняется известная деликатность и грустное сознание своего бессилия. По-видимому, в разрыве с Реневой меньше виноват он, вспоминать об этом ему тяжело и больно, но и обвинять одного себя он тоже не может. Это отчетливо явствует из того, как правит Островский реплики Залешина.

«Разбитое счастье»

З а в а л и ш и н. [Все это теперь, как сон досадный и тревожный!.. Да нет-с в действительности и быть ничего не могло, а потому вскоре по отъезде нашем из сих стран... я и переписку с вами прервал]. Зачем? К чему? Я ясно увидел, когда схлынул первый жар, что [вы, это — вечная жажда, порывы, стремления, а... я... я — обломовщина проклятая].

«Светит, да не греет»

З а л е ш и н. Зачем? К чему? Я ясно увидел, когда схлынул первый жар, что в действительности и быть-то нечего не могло; больно велика разница между нами.

Залешин расспрашивает Ренеу более мягко, чем его предшественник из «Разбитого счастья».

«Разбитое счастье»

«Светит, да не греет»

[Завалишин. Я почти уверен... у вас там было что-то... был роман?]

Залешин. А что еще там было с вами? Можно спросить-то?

Залешин. Ведь было что-нибудь?
(д. I, явл. 6)

И именно Залешину поручает Островский осознать жизнь, свою и окружающих, как медленное погружение в болото («погружаемся [все более и более без борьбы]») — в окончательном тексте: «погружаемся в болото постепенно, без борьбы» (д. I, явл. 6). Затем он произносит приговор и Реневой. Не восторженность: [«Смотри, братец, смотри! Волшебница она! Коли ежели захочет что... будет по ее! Никто не устоит, тут нет спасения!], а упрек в его словах, написанных Островским: «И на грех она приехала к нам! Жили бы мы без нее в своих потемках; а то осветила она нам наши болота, а согреть не согрела!» (д. III, явл. 3).

Однако в «Светит, да не греет» Залешин становится в какой-то мере ответственным за гибель Оли. Это он своим невниманием и небрежными ответами ранит и без того истерзанное сердце девушки. Он не только не сожалеет, что не может помочь Оле, как это было в «Чужом счастье», но ему трудно найти для нее даже ласковые слова, называть ее «голубушка» (д. IV, явл. 3).

Протест против пошлой жизни возникает не только в Залешине. Есть он и у Даши. В ней, как в кривом зеркале, отражаются некоторые черты ее госпожи. Такой «принцип пародийного отражения» появится затем в драматургии Чехова. Как и Ренева, Даша равнодушна к старым дворовым — Ильичу и Степаниде, груба с ними. Вместо: «Потешные старики» («Разбитое счастье») она говорит: «При нынешних понятиях таких антиков надо за деньги показывать» (д. I, явл. 1). Подобно Реневой, стремится она за границу.

Пошлость обыденности внесла разлад и в отношения между влюбленными. Островский убрал из пьесы «станового». В качестве главного препятствия к браку Оли и Рабачева он выдвинул нерешительность юноши. В отличие от Озерского Рабачев сознательно медлит с женитьбой. Он не опровергает, как его предшественники в прежних редакциях пьесы, тревог девушки по поводу того, что отец не даст согласия на их брак: «Этому не бывать!.. Откажет — я увезу... я на руках тебя увезу» — а, напротив, с некоторым раздражением отвечает на ее волнения: «Да куда торопиться-то, Олюшка? Еще наживемся в браке-то, надоест; канитель ведь это. Вон посмотри на Залешиных!» (д. I, явл. 8).

Убраны Островским ласковые слова после реплики: «Приходи ко мне!.. Отчего ты не хочешь, — чего боишься!.. [Ведь уже кончено у нас: ты моя, я — твой!] и другие: [«Оля... полно тебе... люблю я тебя... крепко люблю... и больше ничего мне не нужно... как ты одна!..»] (д. I, явл. 8). Глубокая трещина пролегла между влюбленными в «Светит, да не греет», очень легко оторвать их друг от друга.

3

Образы пьесы отмечены внутренней сложностью. Причем в последнем варианте Островский усиливает эту сложность.

Прежде всего это касается образа Реневой. Обобщая результаты совместных размышлений над пьесой, Островский писал Соловьеву 2 октября 1880 г.: «Пьесу надо назвать «Светит, да не греет». Реева освещает им их болото, но сама ничего не дает» (XV, 187). В этом письме Островский подчеркивал двойную и все-таки главную роль героини в драме, психологическую сложность Реневой — как стала именоваться Реева, поскольку фамилии, по словам Островского, «производить от глаголов нехорошо».

Знакомый мир обернулся для Реневой холодно и неприязненно, она стала отчасти его жертвой. Внесценическая часть судьбы Реневой, напоминая судьбу других героинь

Островского, несомненно связана с условиями пореформенной жизни и с главной силой нового времени — деньгами. Бесприданность — вот что круто повернуло ее судьбу. Скоро тридцать лет. Она сама понимает, что весна и лето ее прошли. Впереди осень. И эта осень трагически одинока и бесприютна. Денег нет. Имение продано. Будущая жизнь вырисовывается в неясных очертаниях. Однако, познавшая горечь одиночества, она сама легко обрекает на него других. Покинутая, сама ведет себя жестоко. Требующая внимания, забывает и бросает людей. Но при этом героиня обладает известной привлекательностью, она обаятельна, открыта, никому сознательно не приносит зла.

Островский яснее, чем Соловьев, давал понять, как и почему сложился такой характер. У Соловьева в «Чужом счастье» судьба героини была результатом досадного и нелепого стечения обстоятельств. Она собиралась стать оперной певицей, но внезапно потеряла голос. Богатая тетка, которая воспитала ее, умерла накануне своего полного разорения, оставив Анну Владимировну без средств. В «Разбитом счастье» прошлое Реевой и более драматично, и более обидно. Она испытала на себе глубокое равнодушие окружающих. Тетка, при жизни баловавшая ее, не позаботилась о том, чтобы обеспечить ее будущее. Занятая только собой, она не составила завещания, и все богатство досталось кутиле-сыну. Неблаговидно вел себя и герой Реевой, поспешно покинув свою ничем не примечательную возлюбленную. Остальные, по мнению Островского, должны были поступить так же. Фраза «было много и еще поклонников» получила поэтому в разных вариантах различное продолжение:

«Разбитое счастье»

[«...но о тех и говорить не стоит, уж больно они мелки и пусты. И в конце тоже жажда... нет еще больше, потому явилось страшное... не утоленное возбуждение!»]

«Светит, да не греет»

«...обожателей, которые готовы были целовать мои ноги...нет! даже следы моих ног, в надежде, что княгиня даст мне большое приданое, и которые все потом под более или менее благовидными предложениями сначала сконфузились, а потом удалились» (д. I, явл. 6).

Таковы в «Светит, да не греет» истоки холодности Реевой. Но делая ее более сдержанной и равнодушной, Островский все-таки оставляет ее слова и об имени, и об Оле, и о себе. Он только снижает их пафос, убирает налет мелодраматизма и тем самым усиливает внутреннюю сложность образа.

Если Реева вся полна воспоминаниями и просит Дерюгина найти ей хорошего покупателя, то Реева говорит об этом вскользь.

«Разбитое счастье»

Реева. Только не барышника какого-нибудь. [Грубый, беспощадный, он уничтожит, сметет сейчас же все дорогое мне здесь] порубит и эти старые деревья [сколько навевали они когда-то своим шумом! Как тут мечталось! Нет, пусть хоть не мое будет...но живет...хоть сад уцелел бы!]

«Светит, да не греет»

Реева. Только не барышника какого-нибудь. А то ведь порубит и рощи, и эти старые деревья. Мне бы не хотелось.

(д. I, явл. 3)

Соответственно в IV акте Островский совсем вычеркнул монолог Реевой о родных местах: «Тихо как; ни звука. Деревня вся спит, мое родное гнездышко<...> нет больше у тебя родного уголка, а все сердце сжимается, как вспомнишь!» (д. IV, явл. 2).

Меняет Островский и отношение Реевой к людям. В «Светит, да не греет» она уже не говорит Дерюгину об Ильиче и Степаниде: «Бедные старики, как они жалки» (д. I, явл. 3), а пропускает его замечание мимо. Она гораздо сдержаннее с Олей, и ласковое: «И слезы, слезы! Голубка, успокойтесь, милая моя, мы устроим, я поговорю с вашим отцом, я — ваш защитник» сменяется на равнодушно-любопытное: «...я все, все выльтаю» (д. II, явл. 5). Вечером с Рабачевым ей ни к чему долго вспоминать о ней. Реева ограничится беглым замечанием и переведет разговор на другое.

«Разбитое счастье»

Реева. Ах, Васильков здесь! Миленькая эта Оля, его дочка. [Дурная только. Распеку я ее: как-то всего раз была у меня тогда, как я приехала, а потом пропала! Бедняжка! Какое-то горе сердечное есть у девочки: расплакалась тогда у меня!.. Завтра я у них непременно побываю, мне хочется что-нибудь подарить ей на память!]

«Светит, да не греет»

Ренева. Ах, *так вот где* Васильков живет! Миленькая эта Оля у него. *Забегала ко мне раз, да и пропала! Теперь я осмотрелась и узнаю местность.*

(д. IV, явл. 2)

Ее бывший возлюбленный вызывает в ней не горькое отчаяние, а лишь грустную досаду. Слова: «Красив... очень красив! Нет уж тут ничего не чувствуешь, ничего — одно только отчаяние за человека» — сменились на: «*Нет, уж к нему ничего чувствовать нельзя, кроме сожаленья. Бедный!*» (д. I, явл. 7).

Но и к себе Ренева беспощадна. Те добавления и купюры, которые делает Островский, позволили отчетливее показать это. Вот, например, сокращения, сделанные в одном из ее монологов: «Реева. Может быть, но и моя песенка тоже спета... [только я не примирюсь и не остановлюсь!.. [Да] весна моя и лето прошли, — настает *уж* осень [бурная]» (д. I, явл. 6). В окончательном варианте Реневу мало утешают и бури, и роман. В «Светит, да не греет». Ренева избегает напыщенности, сравнений выпренных и избитых, встречавшихся в языке Реевой: «Я умирающий от голода на свадебном пиру жизни» (д. I, явл. 6).

Появление Реевой, активное неприятие ею окружающих вызывает их резкое и неприязненное отношение. Между тем суждения ее об окружающих во многом очень точны. Без твое снисходительности отвечает она на приглашение супругов Залешинных: «Нет [к чему нарушать] благоденствуйте!.. [И для себя я у вас не найду никакой пицци]. А зевать до истерики я могу и здесь, — дома» (д. I, явл. 7). Вместо вычеркнутых внесены слова: «*что мне у вас делать?*».

Яснее всего раскрываются разные стороны характера Реевой — Реневой в романе с Озерским — Рабачевым. Она сразу же старается произвести на него особенное впечатление. В «Светит, да не греет» Островский это усиливает. Она не только объявляет Рабачеву, что он очень красивый молодой человек, но и просит донести ее на руках до тарантаса (д. I, явл. 11).

У Соловьева героиня была многословна, опутывала Озерского комплиментами, не брезговала даже лестью. У Островского — покоряет скорее неожиданностью суждений, своеобразной отвагой. И самохарактеристика Реневой стала более краткой и динамичной.

«Разбитое счастье»

[Реева. ...Неугомонная я, беззаветная и вольная, как птица].

«Светит, да не греет»

Ренева. ...*Женщина вольная, как птица! Есть ли у вас такие?*

(д. III, явл. 5)

Реплика не только облегчена. В ней ощущается активное желание увлечь Рабачева. Раньше были расплывчатые слова: [«Чтоб бирюк в эту минуту забыл все, если оно и есть у него! Подошел бы ближе, сел рядом, открыл свою душеньку, отдал все душеньку, был бы весь мой»], теперь короткое, ошеломляющее: «*Чтоб вы любили меня!*» (д. IV, явл. 2).

Для надуманной любви Реневой нужна соответствующая рамка. Поэтому Островский развивает скупые в варианте Соловьева слова о русалках. Он дописывает: «*Вода, ракушечник, белый песок <...> Я сама хочу быть русалкой! Едем!*» В этих словах самонагнетание страсти, самонаигрывание любви. Рабачев должен ему подчиниться. К очень удачной и написанной в том же ключе реплике Соловьева: «Нет же, нет, не будет этого, не пуцу. Я задшу вас! Видите, я плачу!» — Островский добавляет ремарку: *рыдает*. Она усиливает и без того накаленную атмосферу.

Вернувшись с острова, Ренева ведет себя более сдержанно, чем Реева. В «Разбитом счастье» угрозы Озерского погибнуть вместе в пучине вод были малооправданы и

С. В. АЙДАРОВ В РОЛИ
ДУЛЕБОВА
«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»

Малый театр, 1912 г.

Фотография

Центральный театральный музей,
Москва



скорее вызваны его собственными угрызениями совести, чем уклончивостью Реевой. Она ведь даже предлагала ему уехать вместе. В «Светит, да не греет» — откровенное желание Ренева завершить отношения. Вместо торжества любви — попытка свести все на нет, вместо предложения уехать вместе — совсем иное: «*Но до завтра мы все-таки расстанемся*».

«Разбитое счастье»

[Реева. Кудри, мои кудри! Какие кудри у него! Красавец мой! Ты мне напоминаешь одного молодого художника в Париже. Такое же лицо, очень красив и похож на тебя, только не так молодежат и захвачен уже гнилью цивилизации. Ты ведь редкость у меня, диковина. Что же, скажешь теперь мне, кто у тебя есть, кто она?]

«Светит, да не греет»

Ренева. *Об этом завтра, милый Борис Борисыч. А теперь подите садьте подле меня, я хочу поиграть вашими кудрями.*

(д. IV, явл. 4)

На другой день Ренева спокойно собирается уезжать, она не особенно хочет видеть своего поклонника. Известие о смерти Оли она, естественно, не может воспринять равнодушно, но сразу же пытается оправдаться перед Рабачевым. В «Чужом счастье» она пылко обвиняла себя в гибели девушки: «*Говорите... требуйте... что вы хотите от меня... я хочу, я готова искупить <...> И здесь... и в этом... я узнаю тебя, моя судьба жестокая: минута счастья и забвения и годы страдания и казни! Бездольная ты... бездольная! Не кляните!*» (д. V, явл. 9).

В «Разбитом счастье» она отводила упреки более осторожно, говорила о своей нелепой «судьбе». В «Светит, да не греет» она уже просто перекалывала всю ответственность на Рабачева: «*Надо уметь жить. Как же вы не заметили с первого взгляда, что я на серьезную страсть неспособна*» (д. V, явл. 10).

Свой драматизм есть во взаимоотношениях Оли и Рабачева. Как уже говорилось, в первом акте у Соловьева была тема «станового» как главного препятствия к браку влюбленных. Тема эта проходила и в III и IV действиях. Но, по Островскому, «перспектива быть женой станового только нарушает поэтичность характера Оли» (XV, 189).

Ничего этого нет в окончательном варианте. Есть только огромная любовь Оли и боязнь Рабачева погрузиться в болото. В «Светит, да не греет» нет и экзальтированных монологов Оли о возмездии, о божьей каре; лишь однажды упоминает она о покойной матери. Островский убрал в 8 явлении I действия слова Оли о «грешной любви», в 10 явлении III действия: «Бога одного я только боюсь, а то на все готова, скажи, требуй». Еще со времени «Чужого счастья» Островский настаивал на тщательной обработке сцены перед гибелью девушки. Там Оля произносила напыщенный монолог: «Боже! Боже! Звон... это уж мой, мне, моему счастью! Вот она, вода играет, манит, вон струйка серебрится, она — моя, холодная только, а внизу тина, рыбы, черви! Страшно... нет не страшно, теперь не страшно, а если послезавтра, пожалуй, побьюсь! Скорей, не думай! Господи! прими! Ах, нет, как страшно, видела ее, мою смерть, из глубины руки протягивает. А где душа-то моя будет через минуту? Что я? Куда? А! Скорей!» (д. IV, явл. 5). В «Разбитом счастье» сначала шел диалог Оли с Завалишиным, потом — с Озерским. Но и они подверглись значительной правке. Оля долго рассказывала Завалишину о своей будущей жизни. В «Светит, да не греет» тревога мешает ей говорить и мешает верить.

«Разбитое счастье»

[О л я. Знаете, ведь он мой жених, и скоро наша свадьба, мы уже решили между собою. Мой отец если не согласится, мы все-таки обвенчаемся, отец после простит. Как думаете, простит ведь? Не преступление же это такое?]

(д. IV, явл. 3)

«Светит, да не греет»

О л я. Скоро наша свадьба. Он завтра поедет к отцу... Ведь отец согласится?

Завершался этот разговор в «Разбитом счастье» словами Оли: «Господи! Помилуй нас и храни! Заступница! Не оставь!»

Островский как бы развил положительные черты Оли, девушки из народа, искренней, сдержанной и способной на сильную страсть. Ей уже стало не к лицу восхищаться Ревевой, и было убрано: «Боря, как она хороша собой» (д. II, явл. 10). Оля не хочет быть откровенной с богатой и неискренней барыней.

«Разбитое счастье»

[О л я. Я не люблю его, он не жених мне... а так, это отец... свадьбы этой не будет, что бы не случилось, что бы не было со мной, а только...]

(д. II, явл. 5)

«Светит, да не греет»

О л я. Для кого же это может быть интересно, кроме меня?

Островский выделил напевную, песенную стихию ее речи, по-своему ритмически организованной. Слова: «Ты все с ней [а] я-то [издергалась, эти дни совсем не виделась]» сменились на: «...уж я думала, думала. Как же ты это... не пожалей?» И своего рода рефреном возникло: «Ты сам посуди: как мне жить без тебя и для чего жить?» — вместо значительно более избитого: «Так не разлюбил и мой» (д. III, явл. 4).

До высот подлинного трагизма поднимается Оля в прощальной сцене с Рабачевым. Как видно из рукописи, Соловьев долго работал над ней, заменил отдельные куски. Островский сохранил то состояние героини, при котором горе не выражается словами, когда одно только — «странно» передает смертельную тоску. Вместе с тем он усилил опустошенность девушки, безысходность ее состояния. Более категорическое: «А я пойду за станового» превратилось в тоскливое и безвыходное: «За кого отдадут, кто посаащается» (д. IV, явл. 5).

Вот как была исправлена и еще одна Олина реплика.

«Разбитое счастье»

[О л я. Да я больше никого не буду любить, полно, довольно с меня! И не верю никому! Любовь отнята,.. вера взята! Мне все равно теперь! Да ничего, ты не бойся, я весела, хоть песни петь готова веселые! Что мне теперь? Беречь нечего, ничего нет у меня... все потеряла!]

«Светит, да не греет»

О л я. Да какая любовь, Боря! Любви нет. Уж я как верила, что ты меня любишь; а где ж эта любовь? Отчего же мне нейти? Мне все равно теперь, нечего беречь, мне нечего жалеть, у меня ничего нет. Мне как-то легко, и как будто я веселая. Только эта легкость какая-то особенная: как будто все с меня свалилось, ничего у меня нет, ни горя, ни радости, ну, ничего — и души нет

(д. IV, явл. 5)

Как будто немного изменил в монологе Оли Островский, но как отчетливо выразил он мысль, как точно раскрыл состояние человека, у которого — «и души нет».

Значительной правке подверг Островский и все, что относится к герою пьесы. Давая ему вместо Озерского фамилию Рабачева, Островский подчеркивал новое в этом образе. «Рабач, — писал он Соловьеву, — значит коренастое, кряжистое дерево, но вместе с тем суковатое и неукладистое» (XV, 189). Рабачев — «барин и крестьянин», связанный с землей и находящийся в труде источник существования и радости. И вместе с тем он неудовлетворен этим, рвется вверх и многого не может согласовать в себе. Соловьев подчеркивал, что Озерский — молодой красавец, увлекающий Рееву своей первобытностью; Островский отметил разлад в душе Рабачева. «Не развитый и не очень умный» (XV, 187), он не понимает Олю.

«Разбитое счастье»

[О з е р с к и й. А ... забудь все! (обнимает ее). Ведь хорошо нам так сейчас... хорошо, голубка моя?]

«Светит, да не греет»

Р а б а ч е в. Эх, Оля! Не ломайся ты, сделай милость! Знаешь, терпеть я не могу (поворачивается, чтобы уйти).

(д. I, явл. 8)

Достаточно грубо предлагает он ей и остаться у себя: «Что тут еще бобы-то разводить!» (д. III, явл. 4). Под внешней резкостью скрывает он свое увлечение Реневою: «Уж теперь кончено, довольно. Потешил ее и сам подурачился, и будет с меня. Нет, уж теперь калачом не заманишь» (д. III, явл. 4).

Финальный взрыв Озерского был вызван сознанием его вины перед Олей. Измена терзала его и в минуту свидания с девушкой, и во время объяснения с Реевой. У Островского Рабачев, конечно, чувствует себя виноватым, но не в такой степени.

«Разбитое счастье»

[О з е р с к и й. Стою перед тобой, жду приговора себе. Ты мой страшный судья! Ну, прокляни меня!]

«Светит, да не греет»

Р а б а ч е в. Да говори же что-нибудь, скорей, говори! Только не слезы...

(д. IV, явл. 5)

Как видим, реплики значительно отличаются друг от друга.

И в момент объяснения с Реневою он интересуется лишь своей дальнейшей судьбой, своим будущим, обещает ей учиться и стать достойным ее, как-то почти по-детски повторяет: «Теперь уж мы неразлучны... говорите, неразлучны?» (д. IV, явл. 4). Озерский же терзается судьбой Оли.

«Разбитое счастье»

[О з е р с к и й. Была! Не поминай, говорю, грызет это меня!

Не даром же я — преступник! (...)
Нет, теперь я тебя не выпущу!]

«Светит, да не греет»

Р а б а ч е в. Вы лучше б уж меня не трогали, а то вы разбудили такую силу, от которой уж вам не уйти. Нам уж или жить вместе, или умирать вместе!

(д. IV, явл. 4)

Настойчивые угрозы сделать так, что они погибнут вместе, возникают в «Светит, да не греет» как ответ на уклончивость Реневою, в то время как в «Разбитом счастье» они были меньше оправданы и вызваны лишь угрызениями совести Озерского.

В окончательном варианте только смерть Оли позволяет Рабачеву увидеть все в настоящем свете. Он начинает все понимать ясно и трезво, без мистики, которая была у Соловьева.

«Разбитое счастье»

Озерский. Вы не видите, а я вижу. Вот вошла, стала у дверей, стоит и спрашивает нас: «кто мой убийца».]

«Светит, да не греет»

Рабачев. *А невозможно, так пойдете к ней! Я не знаю, кто из нас виноват, кто убийца. Мы будем судиться перед ней...*

(д. V, явл. 10)

Островский провел большую стилистическую правку пьесы. Много лишних слов, слов-паразитов внес он в речь Дерюгина, особенно в начале, когда тот еще не знает, как его примут у Реневои: «[А что так] Нам собственно барышню нашу, Анну Владимировну. А что ежели повидать их можно» (д. I, явл. 2). Ильич ругает Степаниду «мужичка», а не «деревня», что для него грубее, не употребляет украинизм «хаты», говорит — «избы» (д. I, явл. 1). Больше вульгарных просторечий у Авдотьи Васильевны, что выражает суть ее характера. «А как в девушках, так я была даже очень тонкая и кашляла, даже боялись, что у меня чахотка», — было у Соловьева. У Островского она говорит: «тонкого сложенция», а «чахотка» убрана. Вместо: «Милый мой и похудел как!» Авдотья Васильевна в окончательной редакции заявляет резко: «Потому что кому вы нужны?» (д. V, явл. 6).

Значительным сокращениям подверглись многие реплики Залешина. Вот например: «Нет, ради бога, [знаете, я вас боюсь.] Вот я уж чувствую: [увидел вас] и во мне что-то нарушено, разлад [зашевелился,] пошел внутри. Не буду ужинать, как всегда [а ночью увижу тревожные сны] ужинал. Нет, куда уж!.. [Страшно. Страшно оттого, что, пожалуй, чего доброго, пробудись в самом деле, поднимешься, а голоса и света, призвавшего к жизни, уже нет, та же мертвая тьма! Ведь это какая мука!]]» (д. I, явл. 6). В окончательном тексте он гораздо более сдержан, трагичен внутренне, а не внешне. И именно поэтому он не говорит по уходе Оли: «Чудо со мной свершилось: отрезвел я и образумился вполне». Эти слова заменяются на грустно-трезвое: «Нет, уж коли стал дураком, так дурачься один на один с собой, про себя...» (д. IV, явл. 3).

Анализ правки Островского дает наглядное представление об истории совместной работы драматургов.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ С. Ф. Е л е о н с к и й. К истории драматического творчества А. Н. Островского. Предвосхищенный замысел «Вишневого сада». — В кн.: «А. Н. Островский. 1823—1923». Иваново-Вознесенск, 1923, стр. 105—114.

² Анализ пьесы в этом плане дается в моей статье «Последняя пьеса А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева». — «Русская и советская литература. Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 273, 1965, стр. 50—70.

³ «Чужое счастье». Черновой автограф со множеством исправлений и добавлений. Дата 1 июля 1880 г. Дагестанская обл., урочище Дашлагар. — ЦГАЛИ, ф. 463, оп. 1, ед. хр. 7.

⁴ «Литературный сборник» № 1 («Труды Костромского научного общества по изучению местного края», вып. 42). Кострома, 1928, стр. 76.

⁵ «Разбитое счастье». Рукопись различными почерками, вторая половина рукой Соловьева, имеет множество исправлений и вставок рукой Островского. Дата 12 августа 1880 г. Щельково, Костромской губ. — ИРЛИ, ф. 218, оп. 1, ед. хр. 50.

⁶ «Литературный сборник», стр. 77.

⁷ Там же, стр. 81.

⁸ Письмо К. Н. Леонтьева Н. Я. Соловьеву 29 декабря 1879 г. — ЦГАЛИ, ф. 290, оп. 1, ед. хр. 41.

⁹ К. Н. Л е о н т ъ е в. Воспоминания. — Собр. соч., т. 9. М., 1912, стр. 40.

¹⁰ А. С к а ф т ы м о в. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958, стр. 363.